

зоваться — как и для всей повествовательной части поэмы вообще, не говоря уже о вступлении,— понятием приподнятого стиля. По всей вероятности, это обстоятельство не должно игнорироваться при оценке образа героя в целом, во всяком случае оно не соответствует представлению о Евгении как о «ничтожнейшем из ничтожнейших», более справедливыми представляются суждения о Евгении как о подлинно трагическом герое, любящем, глубоко страдающем, самоотверженным¹². Разумеется, если говорить о стилистической интерпретации этого положения, его нельзя выводить просто из того факта, что Евгений изображен не низкими, а отчасти книжными и высокими языковыми средствами,— говоря так, мы снова впали бы в анахронизм, предполагая, что положительный и отрицательный герои непременно изображаются разными «языками». Дело в совокупности всех смысловых, стилистических и эмоциональных средств, в которых предстает Евгений как реальная личность. Это последнее обстоятельство приходится особенно подчеркивать, потому что образ главного героя в «Медном всаднике» нередко излишне типизируется и социологизируется, превращаясь в абстрактный символ; см., например, замечание Г. А. Гуковского, что проблема Евгения и Петра в поэме «настолько социологизировалась, что не потребовала индивидуальной персонализации обеих борющихся сил»¹³. В то же время Г. А. Гуковский точно замечает, что «с Евгением входит в высокую литературу герой не идеальный, и нимало не крупный, а все-таки трагический герой, а не простой объект правоописательного изображения»¹⁴. Очевидно, в вопросе о роли Евгения в утверждении образа маленького человека в русской литературе это обстоятельство оказывается чрезвычайно существенным. Может быть, Евгений «Медного всадника» — первый в русской литературе художественный образ, отразивший сформулированное М. М. Бахтиным положение о «неадекватности герою его судьбы и его положения», невоплотимости человека «до конца в существующую социально-историческую плоть» как одной из основных «внутренних тем» романа¹⁵.

Неубедительность мнения о наличии в поэме сниженного стиля для темы Евгения отмечалась в литературе, особенно целеустремленно Е. А. Майминым¹⁶, который, однако, кажется, впадает в другую крайность, говоря о «державинском стиле», «высоком одическом языке» поэмы в целом, что определяется, по его мнению, свойствами самого жанра, «философски-обобщенным характером» произведения и трагизмом образа Евгения. Похоже, что и здесь язык Пушкина объясняется при помощи уже устаревших для поэта понятий и категорий. Не говоря о том, что язык «Медного всадника» никак не сводится к высокому стилю, здесь вызывает возражение самый способ толкования трагического содержания через высший «одический язык», через «державинскую стилистику».

Преодоление противопоставления темы Петра и темы Евгения, поиски объединяющих разные части поэмы стилевых признаков должны идти, очевидно, не по пути признания традиционности, «одичности» языка и стиля повествовательных частей, а скорее в направлении пересмотра и

¹² Замечания такого рода, ограничивающие и выправляющие брюсовскую характеристику, можно найти в работах А. Л. Слонимского, Б. С. Мейлаха, Д. Д. Благого (см., в частности, интересные наблюдения Д. Д. Благого о сложных отношениях, которые складываются в поэме между образами Петра и Евгения и которые не сводятся к их простому противопоставлению). Наиболее последовательным «защитником» Евгения выступает С. М. Бонди: см. краткое изложение его доклада в хроникальной заметке, опубликованной в «Известиях ОЛЯ», 1962, вып. 3, стр. 284—285, а также его комментарий в Собр. сочинений Пушкина в 10 томах, ГИХЛ, т. III, стр. 519—520.

¹³ Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957, стр. 398.

¹⁴ Там же, стр. 399.

¹⁵ Бахтин М. Эпос и роман. — Вопросы литературы, 1970, № 1, стр. 119.

¹⁶ Маймин Е. А. Философская поэзия Пушкина и Любоумров. Пушкин. Исследования и материалы, VI, стр. 115—116.